### Свадебный джаз

#### Стивен Кинг

В 1927 году мы играли в одном из торгующих спиртными ресторанчиков Моргана в Иллинойс, оттуда до Чикаго миль семьдесят. Глухая провинция, миль на двадцать в округе не сыщешь другого порядочного города. Но и здесь хватало фермеров, которым после жаркого денька в поле страсть как хотелось что-нибудь покрепче «Мокси» и девочек, которые любили попрыгать под джаз со своими липовыми ковбоями. Попадались и женатые (уж их-то всегда отличишь; могли бы и не снимать колец) — они удирали подальше от дома, туда, где их никто не знает, чтобы покрутить со своими не вполне законными лапочками.

Это было время джаза, настоящего джаза, — тогда музыканты не старались оглушить. Мы работали впятером — ударные, корнет, тромбон, пианино: труба — и делали неплохую музыку. До нашей первой записи оставалось еще три года, а до первой киношки, которую мы озвучивали, — четыре.

Мы играли «Бамбуковый залив», когда вошел здоровенный детина в белом костюме и с трубкой, загогулистой, как валторна. К тому времени наш оркестрик был слегка под газом, но публика уже совсем перепилась и так наяривала, что пол дрожал. Сегодня она была настроена добродушно: ни одной драки за целый вечер. Пот с моих ребят лил рекой, а Томми Ингландер, хозяин, все подносил да подносил виски, мяконькое, как кошачья лапка. На Ингландера приятно было работать, ему нравилось, как мы играем. Так что, ясное дело, я его тоже уважал.

Малый в белом костюме сел за стойку, и я про него забыл. Мы закончили круг «Блюзом тетушки Хагар», который шел тогда в глубинке на «ура», и нас наградили громкими криками. Мэнни опустил трубу, и его физиономия расплылась в улыбке; когда мы уходили с эстрады, я похлопал его по спине. Весь вечер на меня поглядывала рыженькая, а я всегда питал слабость к рыжим. Мы встретились глазами, она слегка кивнула, и я стал пробираться через толпу, чтобы предложить ей выпить.

На полдороге передо мной вырос детина в белом костюме. Вблизи он выглядел хорошим бойцом. Волосы у него на затылке топорщились, хотя, судя по запаху, он вылил на них целый флакон косметического масла, а глаза были блеклые, со странным отблеском, как у глубоководных рыб — Надо поговорить, выйдем, — сказал он.

Рыженькая надула губы и отвернулась.

— Потом, — сказал я. — Дай пройти.

— Меня зовут Сколлей. Майк Сколлей.

Я знал это имя. Майк Сколлей был мелкий рэкетир из Шайтауна, он зарабатывал на красивую жизнь, провозя выпивку через канадскую границу. Крепкий напиток из той самой страны, где мужики носят юбки и играют на волынках. В свободное от розлива время. Несколько раз его портрет появлялся в газетах. Последний такой случай был, когда его пытался пристрелить другой висельник.

— Здесь тебе не Чикаго, дядя, — сказал я.

— Я с друзьями, — сказал он. — Не рыпайся. Выйдем.

Рыжая опять посмотрела на меня. Я кивнул на Сколлея и пожал плечами. Она фыркнула и показала мне спину.

— Ну вот, — сказал я. — Спугнул.

— Такие пупсики идут в Чикаго по пенни за пачку, — сказал он.

— Пачка мне ни к чему.

— Выйдем.

Я пошел за ним на улицу. После ресторанной духоты ветерок приятно холодил кожу, сладко пахло свежескошенной люцерной. Звезды были тут как тут, они ласково мерцали в вышине. Чикагцы тоже были тут как тут, но на вид не шибко ласковые, а мерцали у них только сигареты.

— Есть работенка, — сказал Сколлей.

— Вот как?

— Плата две сотни. Разделишь с командой или придержишь одну для себя. — Что надо делать?

— Играть, что же еще Моя сестренка выходит замуж. Я хочу, чтобы вы сыграли на свадьбе. Она любит дискиленд. Двое моих парней сказали, вы хорошо играете дискиленд.

Я говорил, что на Ингландера приятно было работать. Он платил нам по восемьдесят зеленых в неделю. А этот предлагал в два с лишним раза больше за один только вечер.

— С пяти до восьми, в следующую пятницу, — сказал Сколлей. — В зале «Санз-ов-Эрин», на Гровер-стрит.

— Переплачиваешь, — сказал я. — Почему?

— Есть две причины, — сказал Сколлей. Он попыхал трубкой. Она явно не шла к его бандитской роже. Ему бы прилепить к губам «Лаки Страйк» или, положим, «Суит Капорал». Любимые марки всех дармоедов. А с трубкой он не походил на обыкновенного дармоеда. Трубка делала его одновременно печальным и смешным.

— Две причины, — повторил он. — Ты, может, слыхал, что Грек пытался меня кончить.

— Видел твою личность в газете, — сказал я. — Ты тот, который уползал на тротуар.

— Много ты понимаешь, — огрызнулся он, но как-то вяло. — Ему меня уже не осилить. Стареет Грек. Умишком хром. Пора на родину, сосать оливки да глядеть на Тихий океан.

— По-моему, там Эгейское море, — сказал он.

— Хоть озеро Гурон, мне насрать, — сказал он. — Главное, не хочет он в старички. Все хочет достать меня. В упор не видит, что смена идет.

— Ты, значит.

— Гляди, довякаешься.

— Короче говоря, ты платишь такие бабки, потому что наш последний номер пойдет под аккомпанемент энфилдовских винтвок.

На лице его вспыхнула ярость, но к ней примешивалось что-то еще. Тогда я не знал что, но теперь-то, похоже, знаю. Похоже, это была печаль. — Иисус свидетель, по этой части я дела все, что можно сделать за деньги. Если кто чужой сунется, ему живо отобьют охоту вынюхивать.

— А вторая причина?

Он понизил голос:

— Моя сестра выходи за итальянца.

— За честного католика, вроде тебя, — беззлобно ухмыльнулся я.

Он опять вспыхнул, аж побелел, и на миг мне показалось, что я перегнул палку.

— Я ирландец! Чистокровный ирландец, без подделки, запомни это, сынок! — И едва слышно добавил: — Хоть и мало у меня осталось волос, она все равно рыжие.

Я раскрыл было рот, но он не дал мне и словечка вымолвить. Сгреб в охапку и придвинулся вплотную, нос к носу. Я никогда не видел столько ярости, горечи, гнева и решимости на человеческом лице. Как человек может быть уязвлен и унижен — в нашу пору ни у одного белого такого лица не увидишь. Тут и любовь, и ненависть. Они пылали в тот вечер у него на лице, и я понял, что еще пара шуточек, и я уже не жилец.

— Она толстая, — еле слышно прошептал он, обдавая меня запахом мятных конфеток. — Есть много охотников посмеяться над этим у меня за спиной. Но когда я гляжу на них, они умолкают, понял, мистер корнетист? Потому что лучше этого итальяшки ей, может, ничего не светило. Но не советую смеяться надо мной, или над ней, или над итальяшкой. Никому не советую. Я никому не дам смеяться над моей сестренкой.

— Мы никогда не смеемся во время игры. Дуть мешает.

Это разрядило обстановку. Он рассмеялся — отрывистым, лающим смехом. — Подъедете пораньше, начало в пять. «Санз-ов-Эрин» на Гровер-стрит.

За дорогу в оба конца плачу тоже я.

Он не спрашивал согласия. Я уж понял, что нам не отвертеться, но о не дал мне даже обговорить все толком. Он уже шагал прочь, а один их дружков загодя распахнул перед ним заднюю дверцу «паккарда».

Они уехали. Я еще немного постоял, покурил. Вечер был такой теплый, чудесный, и чем дальше, тем больше казалось, что Сколлей мне просто onlepeyhkq. Я подумал, как здорово было бы вытащить эстраду прямо сюда, на стоянку для машин, и поиграть здесь, но тут наш ударник Бифф похлопал меня по плечу.

— Пора, — сказал он.

— Ага.

Мы вошли внутрь. Рыжая подцепила какого-то занюханного морячка, раза в два старше ее. Не знаю, что этот парень из военно-морского флота потерял в Иллинойсе, но я ничего не имел против, коли уж она такая неразборчивая. Мне было не до того. Голова кружилась от виски, и тут, внутри, где благодаря Сколлею и его братии можно было топор вешать на парах контрабандного продукта, гость из Чикаго казался куда более реальным.

— Просят сыграть «Кэмпуанский скачи», — сообщил Чарли.

— Нет уж, — сказал я. — Ниггерские штучки играем только после полуночи.

Я увидел, как лицо садящегося за пианино Билли-Боя застыло, потом опять разгладилось. Я готов был надавать сам себе пинков, но, черт побери, не может же человек вот так сразу сменить пластинку. В те дни я ненавидел слово «ниггер» и все равно повторял его.

Я подошел к нему.

— Прости, Билл, я сегодня что-то не в себе.

— Ерунда, — сказал он, но глядел поверх моего плеча, и я понял, что мои извинения пропали даром. Это было плохо, но еще хуже, скажу я вам, было другое: знать, что он разочаровался во мне.

Во время следующего перерыва я сказал им насчет приглашения, откровенно выложив все и про обещанную плату, и про то, что Сколлей бандюга (хотя и умолчал о другом бандите, который за ним гоняется). Еще я сказал им, что сестра у Сколлея толстуха и что Сколлей принимает это близко к сердцу. И если кто-то примется отпускать шуточку насчет сухопутных барж, вместо того чтобы тихо сопеть в свои две дырки, он рискует заполучить третью, чуток повыше других.

Рассказывая, я не сводил глаз с Билли-Боя Уильямса, но разве поймешь, что у кошки на уме? Легче по морщинкам на скорлупе догадаться, о чем думает грецкий орех. У нас не было пианиста лучше Билл-Боя, и все мы переживали, что во время наших поездок ему приходится терпеть разные мелкие неприятности. Хуже всего, конечно, было на Юге — выгоны для черных, черный раек в кино, всякие такие штучки, — но и на Севере было немногим слаще. Но что я мог поделать? А? Ну-ка, посоветуйте. Такие уж тогда были порядки.

Наступила пятница, и мы подъехали в зал «Санз-ов-Эрин» к четырем, за час до срока. Прикатили на грузовичке, который специально оборудовали Бифф, Мэнни и я. Сзади он был наглухо затянут брезентом, в кузове привинчены к полу две койки. У нас имелась даже электроплитка — она работала от аккумулятора, а на борту красовалось название группы.

Денек был что надо — очень славный летний денек, и белые облачка там и сям отбрасывали на поля тени. Но в городе оказалось жарко и вообще довольно противно: пока разъезжаешь по местам вроде Моргана, успеваешь отвыкнуть от всей этой суеты и толкотни. Под конец дороги рубашка уже липла ко мне и хотелось привести себя в порядок. От глоточка виски, каким угощал нас Томми Ингландер, я бы тоже не отказался.

«Санз-ов-Эрвин», большой деревянный дом, стоял бок о бок с церковью, где должны были венчать сестрицу Сколлея. Если вы когда-нибудь подходили за облаткой, вам, наверно, знакомы такие заведения: сборища «Юных католиков» по вторникам, лото по средам, а по субботам вечеринка для молодежи.

Мы направились туда всей толпой, каждый нес свой инструмент в одной руке и что-нибудь из хозяйства Биффа — в другой. Внутри распоряжалась тощая девица — и подержаться-то не за что. Двое взмокших парней развешивали бумажные гирлянды. Эстрада была в переднем конце зала, над ней натянули кусок полотна и повесили пару больших свадебных колоколов из розового картона. На полотне было вышито блестящими буквами «СЧАСТЬЯ ВАМ, МОРИН И РИКО».

Морин и Рико. Понятно, с чего Сколлей так бесится. Морин и Рико. Охренеть можно.

Тощая девица налетела на нас. Ей явно было что сказать, но я сразу осадил ее.

— Мы музыканты, — сказал я.

— Музыканты? — она недоверчиво покосилась на наше добро. — Ох. А я надеялась, что вы привезли угощение.

Я улыбнулся, словно таскать барабаны и тромбоны в футлярах — обычное дело для фирмачей по обслуге банкетов.

— Пожал... — начала она, но тут к нам подвалил какой-то сосунок лет девятнадцати. Во рту его торчала сигарета, но, насколько я мог судить, шику она ему не прибавляла, только левый глаз слезился.

— Открывай эти фиговины, — сказал он.

Чарли и Бифф глянули на меня. Я пожал плечами. Мы открыли футляры, и он осмотрел трубы. Не найдя ничего такого, куда мы могли бы загнать пулю и выстрелить, он убрался к себе в угол и сел там на складной стульчик.

— Пожалуйста, располагайтесь прямо сейчас, — договорила тощая, как будто ее никто не перебивал. — Пианино в соседней комнате. Когда закончим с украшением, я попрошу ребят вкатить его сюда.

Бифф уже затаскивал свои барабаны на площадку для ударных.

— А я думала, вы привезли угощение, — повторила она разочарованно. — Мистер Скорллей заказал свадебный торт, а потом еще закуски, и ростбифы, и...

— Все будет, мэм, — заверил я. — Им платят после доставки.

— ...и жаркое из свинины, два блюда, и каплуна... мистер Сколлей страшно рассердится, если... — тут она увидела, что один из подручных прикуривает как раз под свисающим концом бумажной гирлянды и взвизгнула: «ГЕНРИ!». Малый подскочил, как ужаленный. Я улизнул на эстраду.

В четверть пятого у нас уже все было готово. Чарли, тромбонист, наигрывал что-то под сурдинку, а Бифф разминал запястья. Поставщики принесли еду в 4. 20, и мисс Гибсон (так звали тощенькую: она была профессионалка по части банкетов) чуть не сшибла их с ног.

Для гостей приготовили четыре длинных стола, накрыли белой скатертью, и четыре негритянки в передниках и чепцах начали расставлять тарелки. Торт выкатили в самую середку, чтобы все глядели и облизывались. Он был шестислойный, а наверху — шоколадные жених с невестой.

Я думал, что успею курнуть на улице, но уже после пары затяжек услыхал гудки и гомон — едут, значит. Я еще постоял, пока первая машина не вырулила из переулка за квартал от церкви, потом раздавил сигарету и вернулся.

— Едут, — сообщил я мисс Гибсон.

Она стала вся белая и буквально покачнулась на каблуках. Ей бы выбрать другую профессию — оформлять интерьер, или, скажем, книжку выдавать в библиотеке.

— Томатный сок! — завопила она. — Принесите томатный сок!

Я пошел на эстраду, и мы приготовились. Нам и раньше случалось играть на таких вечерах — это ведь была обычная практика; и, когда открылись двери, мы вдарили рэгтайм на тему «Свадебного марша», — я сам делал аранжировку. Вы можете сказать, что это смахивает на безалкогольный коктейль, и я не буду спорить, но публика заглатывала наш марш на всех празднествах, и здесь эффект был тот же. Гости захлопали, завопили, засвистели, а потом начали трепаться. Но я заметил, что некоторые попрежнему отбивали ногой такт. Мы были в форме, и вечер, кажется, намечался удачный. Чего только не болтают об ирландцах и в общем-то не зря, но, черт возьми, коли уж выдался случай повеселиться, — они его не упустят!

И все-таки честно признаюсь: когда вошли жених и зарумянившаяся невеста, я едва не запорол первый же номер. Сколлей, в визитке и полосатых брюках, кинул на меня тяжелый взгляд, и не думайте, что я этого не заметил. Я продолжал играть с серьезной миной, и мои ребята тоже — никто ни разу не лажанулся. На наше счастье. Публика, которая почти сплошь состояла из сколлеевских головорезов и их подруг, была, видно, уже ученая. Как же, они ведь наблюдали венчание. И то по залу прокатился этакий легкий шумок.

Вы слыхали про Джека Спрэта и его жену? Так эти выглядели во сто раз хуже. Сколлей почти потерял свою рыжую шевелюру, но у его сестры волосы a{kh в целости, длинные и кудрявые. Однако вовсе не того приятного золотистого оттенка, какой вы можете себе вообразить. А как у аборигенов графства Корк — цвета спелой морковки и все мелко закрученные, точно пружинки из матраца. Лицо у нее от природы было молочно-белое, хотя ручаться трудно — столько на нем высыпало веснушек. И ее-то Сколлей назвал толстухой? Мать моя, да он с таким же успехом мог бы ляпнуть, что «Мэйси» — мелкая лавчонка. Это была женщина-динозавр — ей-богу, она потянула бы фунтов на триста пятьдесят. Все у нее ушло в грудь, и в бедра, и в зад, как обычно бывает у толстых девиц: то, что должно соблазнять, становится уродливым и даже пугает. У некоторых толстушек видишь трогательно симпатичные личики, но у сестры Сколлея и того не было. Слишком близко посажены глаза, рот до ушей, да еще лопоухая. И веснушки эти. Даже сбрось они лишний жир, все равно от такой вывески мухи бы на лету дохли.

Но одно это не вызывало бы смеха, разве что у каких-нибудь недоумков или любителей поиздеваться. Картину дополнял женишок, Рико, и вот тут уж так разбирало, что только волю дай — все бы животики надорвали. Нацепи ему цилиндр, он и то не достал бы до середины ее мощного корпуса. На вид в нем было фунтов девяносто, если намочить хорошенько. Худой как щепка, а физиономия темно-оливковая. Он озирался с нервной улыбкой, и зубы его были похожи на гнилой забор в чикагской подворотне.

Мы продолжали играть.

Сколлей гаркнул:

— Жених и невеста! Дай вам Бог счастья!

А коли Бог не даст, ясно говорил его нахмуренный лоб, так вы то уже постараетесь — хотя бы сегодня.

Все одобрительно загалдели и захлопали. Под конец номера мы сыграли туш, и это тоже вызвало взрыв аплодисментов. Сестренка Сколлея улыбнулась. Да, роток у нее был что надо. Рико глупо ухмылялся.

Пока то да се, гости слонялись по залу, поедая бутерброды с сыром и ломтями холодного мяса и запивая их отличным шотландским виски — контрабандным товаром Сколлея. Я сам в перерывах между номерами три раза пропустил по глоточку, и Томми Ингландер был посрамлен.

Сколлей вроде бы тоже повеселел — во всяком случае на вид.

Один раз он подрулил к эстраде и сказал: «Нормально играете, ребята». Услышать это от такого ценителя музыки было очень даже приятно.

Перед тем как усесться за стол, к нам подошла Морин собственной персоной. Вблизи она была еще страшней, и белое платье (этой шелковой упаковки хватило бы на десяток простыне) ни капли ее не красило. Морин спросила, можем ли мы сыграть «Розы Пикардии», как Ред Николс, и его «Пять Пенни», потому что, сказала она, это ее самая любимая песня. Что ж, она была толстуха и дурнушка, но вела себя скромно, в отличие от всяких дешевых пижонов, тоже делавших нам заказы. Мы сыграли, хоть и не очень здорово. Но она все равно мило нам улыбнулась, став при этом гораздо симпатичней, и даже похлопала.

По местам расселись около 6. 15, и подручные мисс Гибсон выкатили хавку. Гости накинулись на нее, как оголодавшие свиньи, что было, впрочем, не удивительно, а между делом успевали прикладываться к бутылке с крепким пойлом. Я не мог не смотреть, как ест Морин. Пытался отвести взгляд, но мои глаза упорно возвращались обратно, точно не веря самим себе. Остальные тоже наворачивали вовсю, но по сравнению с ней казались старушками за чайным столиком. У нее уже не было времени на милые улыбочки и на всякие там «Розы Пикардии», перед ней можно было ставить табличку: «Женщина за работой». Этой мамочке не годились нож с вилкой, ее устроили бы разве что совковая лопата и ленточный транспортер. Тоска брала глядеть на нее. А Рико (его подбородок был вровень со столом, и рядом с невестой виднелась только пара испуганных, как у суслика, карих глазенок) знай подавал ей блюдо за блюдом, так же нервно и глуповато ухмыляясь.

Пока шла церемония разделки торта, мы устроили себе двадцатиминутный перерыв, и сама мисс Гибсон покормила нас на кухне. Там была адская жара от раскаленной печки, да мы и проголодаться как следует не успели. Вечер начинался хорошо, но теперь запахло чем-то неладным. Я видел это по лицам своих ребят... да и по лицу мисс Гибсон, коли на то пошло.

Когда мы вернулись на эстраду, пьянка была в разгаре. Здоровые парни, x`r`q|, бродили по залу с тупыми ухмылками на рожах или галдели гденибудь в углу о разных видах скачек. Несколько пар захотели танцевать чарльстон, и мы сыграли «Блюз тетушки Хагар» (они его скушали), и «Под чарльстон — назад в Чарльстон», и еще несколько номеров в том же духе. Джаз для девочек. Пигалицы, которым все было пока внове, носились по залу, щеголяя кручеными чулками, водили пальчиками у себя под носом и визжали «ву-ду-ди-ду», — меня от этого клича и сейчас тошнит. Снаружи темнело. С окон кое-где свалились сетки от мух, и в зал налетели мотыльки — они толклись вокруг люстры целыми тучами. А оркестрик, как поется в песенке, все играл. Невеста с женихом оказались на отшибе — их обоих, не тянуло улизнуть пораньше, — и остальные про них почти забыли. Даже Сколлей. Он уже порядком нализался.

Время шло к восьми, когда в зале появился маленький человечек. Я его сразу приметил, потому что он был трезвый и явно напуганный — точно кошка посреди собачьей своры. Он пробрался к Сколлею — тот болтал с какой-то шлюшкой у самой эстрады — и похлопал его по плечу. Сколлей живо обернулся, и я слышал каждое слово их разговора. Ей-богу, лучше б не слышать.

— Кто такой? — грубо спросил Сколлей.

— Меня зовут Деметриус, — сказал человечек. — Деметриус Катценос. Меня Грек послал.

Все танцующие замерли на месте. Верхние пуговицы были расстегнуты, и руки нырнули за лацканы. Я заметил, что Мэнни нервничает. Черт возьми, я и сам не шибко обрадовался. Но мы все равно продолжали играть, верьте не верьте.

— Ах, так, — спокойно, даже задумчиво сказал Сколлей.

Тут человечка прорвало:

— Я не хотел идти, мистер Сколлей! Грек забрал мою жену. Сказал, что убьет ее, если я не передам вам его слова!

— Какие еще слова? — рявкнул Сколлей. Он опять стал чернее тучи.

— Он сказал... — человечек затравленно умолк. Глотка у него ходила ходуном, будто он пытался вытолкнуть оттуда душившие его слова. — Сказал передать вам, что ваша сестра жирная свинья. Сказал... сказал... — Он дико вытаращил глаза, уставясь на замершее лицо Сколлея. Я глянул на Морин. У нее был такой вид, точно ей дали пощечин. — Сказал, что у нее чешется. Сказал: если у толстой бабы спина чешется, она покупает чесалку. Если у бабы чешется в другом месте, она покупает мужа.

Морин громко, сдавленно вскрикнула и с плачем выбежала. Аж пол задрожал. Рико, опешив, засеменил вслед. Он ломал руки.

Сколлей не то что покраснел — побагровел. Мне уж казалось — я прямотаки ждал этого, — что у него вот-вот мозги из ушей брызнут. Я уже видел это выражение безумной муки в сумерках у ресторана Ингландера. Пусть он был обыкновенный бандит, но я его тогда пожалел. И вы бы пожалели. Когда он заговорил опять, голос его был очень тих — почти мягок.

— Что еще?

Малютка грек дрогнул. Его голос срывался от страха:

— Пожалуйста, не убивайте меня, мистер Сколлей! Моя жена — ее Грек забрал! Я не хотел ничего говорить! Он взял мою жену, он ее...

— Я тебя не трону, — еще спокойнее произнес Сколлей. — Только доскажи остальное.

— Он сказал: над вами весь город смеется.

Мы перестали играть, и на миг наступила мертвая тишина. Потом Сколлей посмотрел на потолок. Руки его были подняты к груди и дрожали. Он так крепко сжал кулаки, что казалось, будто жилы проступают сквозь рубашку.

— ЛАДНО ЖЕ! — крикнул он. — ЛАДНО ЖЕ!

И кинулся к двери. Двое дружков пытались остановить его, пытались объяснить, что это самоубийство, Что Грек на это и рассчитывает, но Сколлей точно обезумел. Он расшвырял их и бросился в черноту летней ночи. В мертвой тишине слышались только тяжелое дыхание гонца да где-то внутри дома приглушенный плач невесты.

Затем тот молокосос, что проверял нас на входе, ругнулся и побежал к двери. Остальные не тронулись с места.

Не успел он добежать до большого бумажного трилистника, лысевшего в фойе, как на мостовой завизжали автомобильные шины и взревели моторы. Lmncn моторов. Словно на заводе в день памяти погибших солдат.

— Гос-споди, помилуй! — взвизгнул мальчишка у двери. — Сколько их! Ложись, босс! Ложись! Ложись...

Ночь разорвали выстрели. Это длилось минуту или две — точно перестрелка в первую мировую. По открытой двери зала стеганула очередь, и лопнула одна их больших висячих ламп. Снаружи посветлело от пальбы винчестеров. Потом машина с воем умчались. Какой-то девица вычесывала осколки из взбитых волос.

Опасность миновала, и все парни сразу высыпали на улицу. Дверь на кухню с треском распахнулась, и оттуда выбежала Морин. Она вся тряслась.

Ее лицо, и без того круглое, распухло от слез. Рико несся следом, этакий растерянный мальчонка. Они выскочили наружу.

— Там стреляли, — пробормотала мисс Гибсон. — Что случилось?

— По-моему, Грек замесил хозяина, — сказал Бифф.

Мисс Гибсон посмотрела на него, глаза ее раскрывались все шире и шире. А потом тихо упала в обморок. Меня тоже слегка мутило.

И тут с улицы донесся душераздирающий вопль — такого я в жизни не слышал. Жуткое завывание не стихало ни на миг. Не нужно было выглядывать в дверь, чтобы понять, у кого разрывается сердце, кто причитает над мертвым братом, пока сюда спешат полисмены и газетчики.

— Линяем, — сказал я. — Живо.

И пяти минут не прошло, как мы свернули все хозяйство. Некоторые гости возвратились в зал, но были слишком пьяны и слишком напуганы, чтобы обращать внимание на мелкую сошку вроде нас...

Мы вышли с черного хода, у каждого — что-нибудь из ударных. Странное это было шествие, если кто видел. Я возглавлял его — корнет под мышкой, в обеих руках по тарелке. Ребята остались ждать на углу в конце квартала, а я сбегал за грузовичком. Полиция еще не появилась. Посреди улицы темнела толстая фигура: Морин склонилась над трупом и издавала скорбные вопли, а крошка жених кружился вокруг нее, точно спутник вокруг большой планеты.

Я доехал до угла, и ребята побросали все в кузов вповалку. И мы дернули оттуда. До самого Моргана гнали миль сорок пять в час, не разбирая дороги, и то ли друзья Сколлея не позаботились натравить на нас полицию, то ли полиции было неохота с нами вожжаться, но никто нас так и не тронул. И двухсот зеленых мы так и не видали.

Она появилась у Томми Ингландера дней через десять — толстая ирландка в черном траурном платье. Черное шло ей не больше, чем белое.

Ингландер, наверное, знал, кто она такая (в чикагских газетах рядом с портретом Сколлея была и ее фотография), потому что сам проводил ее к столику и цыкнул на парочку пьяных у стойки, которые вздумали похихикать над ней.

Мне было жалко ее, как иногда бывало жалко Билли-Боя. Плохо, когда ты всем чужой. Чтобы это понять, не надо пробовать на себе, хотя пока не попробуешь, может, и не узнаешь по-настоящему, что это такое. А она была очень славная — правда мы с ней мало тогда поговорили.

В перерыве я подошел к ее столику.

— Мне так жаль вашего брата, — сказал я неловко. — Он правда любил вас, я знаю, и...

— Я все равно, что застрелила его собственными руками, — сказала она. И поглядела на свои руки — теперь я увидел, что они у нее маленькие и изящные, гораздо лучше всего остального. — Тот грек на свадьбе говорил чистую правду.

— Да ну, чего там, — ответил я. По-дурацки, конечно, но что я мог еще сказать? Зря я, видно, подошел: она говорила так странно. Будто немного тронулась от полного одиночества.

— Не стану я с ним разводиться, — продолжала она. — Лучше убью себя, и пропади оно все пропадом.

— Не говорите так, — сказал я.

— А вам никогда не хотелось покончить с собой? — горячо спросила она, глядя на меня. — Если люди вас в грош не ставят да еще смеются? Или с вами никогда так не обходились? Скажете, нет? Простите, но я не поверю. А знаете вы, что это такое — есть не переставая, ненавидеть себя за это и все-таки есть? Знаете, что это такое — убить своего брата из-за того, что r{ толстая?

На нас стали оглядываться, и пьяные опять захихикали.

— Извините, — прошептала она.

Я хотел ей сказать, что не надо извиняться. Хотел сказать... Боже мой, да все что угодно, лишь бы ей полегчало. Докричаться до нее сквозь весь этот студень. Но ничего не приходило на ум.

И я сказал только:

— Мне надо идти. Пора играть дальше.

— Да-да, — тихо сказала она. — Да-да, идите... иначе и вас обсмеют. Но я приехала, чтобы, не могли бы вы сыграть «Розы Пикардии»? Тогда, на свадьбе, мне так понравилось. Можно?

— Конечно, — сказал я. — С удовольствием.

И мы стали играть. Но она исчезла, не дослушав, и мы бросили этот слишком сентиментальный для ингландеровского ресторанчика номер и перешли на рэгтайм «Флирт в универе». От таких штучек здесь всегда заводились. Я пил весь остаток вечера и к закрытию успел совсем забыть про нее. То есть почти.

Когда мы уходили, я вдруг сообразил. Понял, что надо было ей сказать. Жизнь продолжается — вот что надо было сказать. Так всегда говорят тем, у кого умер близкий человек. Но, подумав, я решил: правильно, что не сказал. Потому что именно это, наверно, ее и пугало.

Теперь, конечно, все знают про Морин Романо и ее мужа. Рико, который опередил ее, — он и сейчас еще отдыхает в тюрьме штата Иллинойс за счет честных граждан. Знаю, как она унаследовала маленькую шайку Сколлея и превратила ее в гигантскую империю времен сухого закона, соревнуясь с самим Капоне. как разделалась с двумя другими главарями банд на Севере и прибрала к рукам их связи. Как к ней привели Грека и она прикончила его: проткнула ему глаз фортепьянной струной и вогнала эту струну в мозг, а он, по рассказам, ползал перед ней на коленях, рыдал и молил о пощаде. Рико, растерянный мальчонка, стал ее первым доверенным лицом и на его собственном счету тоже набралось с десяток крупных налетов.

Я следил за успехами Морин с Западного побережья, где мы сделали несколько очень удачных записей. Правда, без Билли-Боя. Вскоре после того, как мы ушли от Ингландер, он организовал свою группу из одних негров, —они играли дискиленд и рэгтайм. На Юге их принимали хорошо, и я был этому только рад. Да и для нас все оказалось к лучшему. Во многих местах из-за негра мы не смогли бы даже попасть на прослушивание.

Но я говорил о Морин. О ней писали все газеты, и не только потому, что она была вроде Мамаши Баркер с мозгами, хотя и поэтому тоже. Она была страшно толстая, и на ее совмести было страшно много преступлений, и американцы от побережья до побережья испытывали к ней странную симпатию. В 1993 году она умерла от сердечного приступа и некоторые газеты сообщили, что она весила пятьсот фунтов. Вряд ли. По-моему, таких не бывает, верно? Во всяком случае, о ее смерти писали на первых страницах. Она далеко обошла братца, который ни разу за всю свою жалкую карьеру не поднимался выше четвертой. Гроб ее несли десять человек. Одна газетенка поместила фотографию. Жутко было смотреть. Гроб смахивал на контейнер для перевозки мяса — да и по сути разницы немного.

Рико не смог без нее удержать марку и на следующий же год сел за попытку убийства.

Мне так и не удалось забыть ни ее, ни лицо Сколлея в тот вечер, когда я впервые услышал о ней, — эту муку, смешанную с унижением. Но вообще-то, если поразмыслить, не очень уж мне ее жалко. Толстяки всегда могут перестать лопать. А ребята вроде Билли-Боя Уильямса могут разве что перестать дышать. И я до сих пор не вижу, чем я мог бы помочь ей или ему, и все-таки время от времени мне становится за них как-то горько, что ли. Может, просто потому, что я стал намного старше и сплю уже не так хорошо, как в детстве. В этом вся штука, верно?

Верно же?